

# Новые Известия - 11 июля - Море вспять

В честь дня рождения поэта в Музее Маяковского начался фестиваль поэзии



Давид Бурлюк: «Вы автор и вы гениальный поэт».

**Константин КЕДРОВ,**  
«Новые Известия»

Маяковского как-то основательно не хватает в сегодняшней жизни. Он нужен хотя бы для того, чтобы было кого ругать. Одно время казалось, что его место восполняют другие поэты, но сегодня совершенно очевидно — Маяковский невосполним. «Багровый и белый, отброшен и скомкан», он так ворвался в литературу и таким из нее ушел. Ему не нашлось по плечу ни критика, ни читателя, ни литературоведа, ни пародиста. Чувствуя свою громадность, он иногда проговаривался: «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многого хочется». Его надежды на будущее не оправдались. Тут слишком много сгрудилось графоманов, академистов и неудачников. Все они на разные лады нанились доказывать, что Маяковский плох и не нужен. Во-первых, он безнравственный. Сам про себя написал: «Я люблю смотреть, как умирают дети». А Бодлер, между прочим, на кладбищах со статуями совокуплялся, и сам об этом писал. О Боге, опять же, непочтительно как-то у Маяковского: «Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою от Севера до Аляски». Что касается его конформизма с богопротивной властью, то тут и вовсе теряешься. По всем статьям поэт не проходит, кроме одной — равного ему по гениальности в XX веке все-таки нет. «Зашел к парикмахеру. — Причешите мне уши! — Парикмахер стал хвойный», — да так и остался хвойный до сего дня. «Стили, как известно, бывают разных луев», а стиль Маяковского не к одному из луев не подходит. Его предложение «расстрелять Расстрели», конечно, шокирует, как, впрочем, и радостный призыв «всю эту сволочь со стен Китая кидая». Маяковский поэт агрессивный, тоталитарный. Он, конечно же, настоящий троцкист. Убили его весьма элегантно, состряпав романтическое самоубийство. До сих пор простачки в это верят. Современники сразу все поняли. Асеев кричал: «Тут что-то не так! Его убили!». Остальные делали вид, что верят версии лубянского мясника Агранова. Да и как не поверить, если следователя по делу о смерти Маяковского расстреляли через десять дней после допроса Полонской. Лиля Брик, любовница Агранова, тоже всю жизнь эту версию поддерживала. Даже после расстрела Агранова. Кто мог знать, кого расстреляют следующим.

«Милая, все мы немного лошади. Каждый из нас по-своему лошадь», — это открытие Маяковского не очень вязалось с его революционными поэмищами, где каждое слово — ложь. Лживый конформист и приспособленец был гениальным поэтом. Он лгал, а поэзия говорила правду, и эта правда очень не нравилась советским властям. Он, конечно, мог в угоду новой власти устилать полы «извиняюсь за выражение, пробковым матом» или смирать себя, «становясь на горло собственной песне», но власть ему все равно не верила и правильно делала. Человек, предложивший поставить себе

памятник в виде взрыва («Заложили динамит, а ну-ка дрызнь»), не вписывался в ленинскую программу монументальной пропаганды. Возможно, мы никогда не узнаем, чего хотел этот гениальный горлопан. Скорей всего, он и сам не очень понимал, чего хочет. «Стихи складываются из словесного гула», — вот его исповедь, подтвержденная анатомическим вскрытием. Область мозга, заведовавшая ритмом, оказалась исполинских размеров. Его предсмертная поэтическая молитва: «Море уходит спать. Море уходит вспять». Он был морем вспять. Что это такое — никто не знает, но это намного круче, чем девятый вал Айвазовского. Блок говорил о музыке революции. Маяковский был этой музыкой. Это не марши и не песни, «от этих слов срываются гробы шагать четверкою своих дубовых ножек». Марши гробов — вот музыка революции.

Маяковский не пил, но как все поэты серебряного века дышал «кокаина серебряной пылью». Кокаиновая наркомания отличается отсутствием благодушия и повышенной агрессией. Это непостижимым образом сочетается с предчувствием неслыханного счастья. Типичное кокаиновое видение среди грязи грезить: «через четыре года здесь будет город-сад». Весьма своеобразный садизм тех лет. «Там за горами горя солнечный край непочатый». Одним словом, будущее светло и прекрасно. «Лет до ста расти нам без старости», — это написал поэт, чья жизнь прервалась на рубеже тридцати восьми лет. «Ничего, если пока вместо шика парижских платий я тебя одену в дым табака», — так говорил влюбленный поэт, не подозревавший, что и спустя полвека после его смерти Лиля Брик будет одеваться в шик от Кардена, пошитый специально для нее. Она умела жить. Маяковский жить не умел. В стихах он видел себя хозяином жизни, а в жизни был робким «щенком», щенком на задних лапках перед Лилей Брик. Лиля хотела быть комиссаркой, а стала типичной Прекрасной Дамой русского футуризма. Ругатели Маяковского напрасно волнуются. Уже сегодня он поэт для избранных, способных отрешиться от суеты века и насладиться рифмой. Его полюбят снова, когда основательно забудутся все эти революции, как сегодня никто не помнит императора Августа, воспетого Овидием, но все помнят Овидия. «Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев людей, как мы, от копоты в оспе. Я знаю, солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи».

Однажды шли мы с Генрихом Сапгиром по Парижу и спорили о Маяковском. Сапгир Маяковского не любил, называл его «поэтом, оказавшим услуги государству», и это звучало, как вполне справедливый приговор. И все же я воскликнул, выражая Генриху: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?». На этом наш разговор о Маяковском прервался. Когда говорит поэзия, поэты молчат.